

**КНИГА М.М. БАХТИНА О РАБЛЕ В КОНТЕКСТЕ
ИДЕЙ ШКОЛЫ ФОССЛЕРА
(к постановке проблемы)**

Книга М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» была задумана, по всей видимости, в конце 1920-х¹, написана в 1940-м, а напечатана, с дополнениями и изменениями, не затрагивающими, впрочем, существа замысла, в 1965 году. То есть, как и все другие сочинения Бахтина, за исключением опубликованных в 1929 году «Проблем творчества Достоевского», книга о Рабле пришла к читателю с большим опозданием. Правда, читатель поначалу и не заметил зазора между временем ее создания и появления в свет. Отчасти это было свойством эпохи: в поздние советские годы тексты, написанные вне господствующей идеологии, воспринимались «синхронически»: связь с прерванной гуманитарной традицией была важнее направленной и временной дифференциации. Так тексты Бахтина оказались встроенными в интеллектуальную ситуацию 1960-х годов и долгое время воспринимались в отрыве от своего реального контекста.

Позже, когда гуманитарные идеи XX века в России вновь стали рассматриваться исторически и книга Бахтина вернулась в первую половину столетия, произошло другое, едва ли не худшее недоразумение: ее происхождение стало грубо социологически соотноситься с советской реальностью 1930-х годов. Карнавальные образы средневековья были объявлены культурологической маской советских парадов и массовых шествий, а ритуальные ругательства и проклятия отождествлены с речевым бытом кустанайских колхозников, в среду которых поневоле попал ссыльный Бахтин.

В результате книга о Рабле так и не получила своего беспристрастного анализа, хотя бы в какой-то мере свободного от идеологической моды. В определенный момент стало казаться даже, что ее слава, равно как и мировая слава ее автора, явно преувеличены и, возможно даже, явились результатом недоразумения, в то время как другие более достойные современники остались недооцененными. И все-таки, если не спешить отречься от прежних оценок, если все же признать за книгой Бахтина научную значимость, необходимо для начала выделить и исследовать реальный круг филологических и философских идей, в контексте которых она задумывалась, откликом на которые и/или спором с которыми была.

Заметим сразу, хотя в силу своей растянутой истории книга, по мере очередной переработки, втягивала в свою орбиту все новые научные идеи, корни ее замысла следует искать в эстетической, философской и лингвистической мысли 1910-х годов, а не в советской реальности 1930-х, сколь бы «карнавальной» ни казалась последняя новейшим критикам.

Хорошо известно, что десятиные годы были особым временем. Русская наука и философия, как, пожалуй, никогда прежде, ощущали себя частью европейской науки. Это кратковременное свободное освоение общего пространства, поверх культурных, языковых, конфессиональных и прочих границ создало тот необходимый запас, который позволил в 1960-е годы, после нескольких десятилетий изоляции, обнаружить общие основания для нового диалога русской и европейской гуманитарной науки.

Между тем расслышать голос десятых годов сквозь поздние смысловые, терминологические и идеологические наслоения, восстановить «первозамысел» и первоначальный «диалогизующий фон» «Рабле» (т.е. прежде всего актуальные для того времени научные и философские школы и дискуссии, на которые откликался Бахтин) – как раз труднее всего. Без этого, впрочем, источники, выявлением которых так много и успешно занимались в последнее время бахтинисты, останутся материалами к комментарию отдельных фрагментов текста, не более.

История рецепции книги Бахтина свидетельствует о парадоксе: идея карнавала и народной (смеховой) культуры почти вовсе вытеснила из сознания читателя Франсуа Рабле, ради которого, собственно, и было предпринято исследование. Добросовестный архивист, впрочем, легко возразит, сославшись на стенограмму защиты диссертации (в 1946 году, напомним, текст книги был защищен в качестве диссертации в ИМЛИ), из которой следует, что именно неофициальная / народная культура была главной и первоначальной целью исследования. «Дело в том, – говорил Бахтин во вступительном слове, – что Рабле первоначально, когда я приступил к этой работе, не был для меня самоцелью. Я работаю в течение очень многих лет над теорией, историей романа. <...> ... Героем моей монографии является не Рабле, а <...> народные, празднично-гротескные формы, но традиции, показанные, освещенные для нас в творчестве Рабле»².

Вступительное слово 1946 года всерьез еще не проанализировано, хотя оно дает богатый материал, в том числе для понимания того, что сам Бахтин считал своим «генеральным сюжетом» в 1930–1940-е гг., как объяснял внутреннюю логику развития своего творчества. И все-таки, несмотря на всю ценность архивного материала, нельзя не учитывать, что документ советской эпохи, даже если это свидетельство автора, но свидетельство, данное в официальных условиях, отнюдь не всегда выдерживает конкуренцию с точки зрения достоверности и истинности ни с частным свидетельством, ни с самим текстом.

Хотя во вступительном слове Бахтин назвал Рабле «предметом», а не «героем» своего исследования³, что в контексте его раннего трактата «Автор и герой в эстетической деятельности» звучит почти приговором, – текст книги решительно свидетельствует о том, что Рабле для Бахтина не был случайной фигурой.

Так что, прежде всего, следует вернуть обсуждаемой книге ее героя, или – не будем спорить с автором – предмет, ибо предмет изучения – все-таки Рабле, точнее, трудный Рабле. Прилагательное «трудный» Бахтин

повторяет в самом начале книги дважды, так что оно приобретает не метафорический, а терминологический смысл: «Рабле – труднейший из всех классиков мировой литературы <...>. Рабле труден»⁴.

Так в чем же состоит трудность Рабле? Рабле, пишет Бахтин, «требуется для своего понимания существенной перестройки нашего художественно-идеологического восприятия, требует умения отрешиться от многих глубоко укоренившихся требований нашего литературного вкуса, пересмотра многих понятий, главное же – он требует глубокого проникновения в мало и поверхностно изученные области народного с м е х о в о г о творчества <...>»⁵.

Обратим внимание, существо проблемы сформулировано здесь в методологических границах философии, а не филологии, ибо что представляет собой философская деятельность, по слову другого философа XX века, как не «критическую работу мысли над собой», как не попытку «узнать на опыте, как и до какого предела возможно мыслить иначе, вместо того чтобы заниматься легитимацией того, что мы уже знаем»⁶.

Изучение народной (смеховой) культуры, действительно, перестроило наше художественно-идеологическое восприятие, но вот указанные Бахтиным пределы, до которых можно так мыслить, проблематизированы не были. Народная (смеховая) культура проясняет контекст и источник образности Рабле как великого писателя, находящегося вне магистральной линии развития европейской литературы. Последнее уточнение принципиально. Бахтин настойчиво повторяет мысль об «одиночестве» Рабле, о его непохожести на представителей так называемой «большой литературы»: «Если Рабле кажется таким одиноким и ни на кого не похожим среди представителей “большой литературы” последних четырех веков истории, то на фоне правильно раскрытого народного творчества, напротив, – скорее эти четыре века литературного развития могут показаться чем-то специфичным и ни на что непохожим, а образы Рабле о к а ж у т с я у с е б я дома в тысячелетиях развития народного творчеств

а»⁷. Следовательно, и метод изучения Рабле отличен от методов исследования магистральной линии новой европейской литературы. То есть погружать классиков «большой литературы», будь то Шекспир или Сервантес, в стихию архаической смеховой культуры, как нередко без оглядок и оговорок делают последователи Бахтина, сам автор едва ли предполагал, подтверждением чему служит краткий анализ трагедий Шекспира, предпринятый в «Дополнениях и изменениях к “Рабле”» 1944 года⁸.

В свете сказанного кажется само собой разумеющимся, что книга Бахтина осталась на периферии европейской раблезистики, проигнорированная академической традицией филологического изучения текста. И правда, зачем критике текста узнавать на опыте, «как и до какого предела возможно мыслить иначе», у нее другие цели.

И все-таки настороженно-критическое отношение к книге Бахтина со стороны представителей европейской раблезистики имеет более конкретную и серьезную подоснову, нежели умозрительные методологические споры. Чтобы понять, отчего раблезистика в целом осталась глуха к книге Бахтина, нам придется вернуться в 1910-е годы, к истокам франко-немецкого спора о языке Рабле, инициированного школой Карла Фосслера.

В сегодняшней бахтинистике лингвистические воззрения школы Фосслера изучаются главным образом в связи с книгой В.Н. Волошинова «Марксизм и философия языка». В только что вышедшей фундаментальной монографии сказано: «И еще гипотеза, которую я не могу доказать и на которой не настаиваю, но которую все же рискну высказать. Одной из постоянных тем ученых школы Фосслера (романистов по конкретной специальности) было изучение Франсуа Рабле. <...> Не здесь ли один из истоков написанной много позднее знаменитой диссертации М.М. Бахтина?». Напоминать о том, что эта гипотеза уже высказывалась автором данной статьи, было бы попыткой оспаривать первенство констатации очевидного. Удивительно другое, отчего доказательство выдвинутого тезиса

могло вызвать непреодолимые затруднения, ведь и Фосслер, и Е. Лорк и Э. Лерх занимались языком Рабле, а Л. Шпитцер посвятил Рабле свою диссертацию и целый ряд концептуальных статей, между тем в книге даже не предпринята попытка проанализировать эти работы.

Резюмируя взгляды школы Фосслера на язык Рабле, удобнее всего ссылаться на работы Лео Шпитцера и отчасти самого Карла Фосслера, на Фосслера уже хотя бы потому, что ему принадлежит расширительно-метафорическая привязка слова «карнавал» к Рабле: «лексический карнавал» («lexikalischer Karneval») Рабле. Или, в переводе Бахтина, – «карнавал слов». Именно с этой заковыченной цитаты, автор и источник которой, впрочем, не указаны, начинается один из первых сохранившихся набросков к будущей книге: «Идея карнавала. Стилистический облик Раблэ как “карнавал слов”»⁹.

Русский читатель конца 1920-х гг. имел представление о школе «эстетической лингвистики» Фосслера во многом благодаря В.М. Жирмунскому, автору статьи «Новейшие течения историко-литературной мысли в Германии»¹⁰ и составителю сборника «Проблемы литературной формы» (1928)¹¹, где были напечатаны работы Фосслера «Грамматические и психологические формы в языке» и Шпитцера «Словесное искусство и наука о языке». В предисловии к сборнику, также написанном Жирмунским, можно найти краткую *currículum vitae* и основную библиографию публикуемых авторов.

Еще раньше, в начале 1910-х гг., две работы Фосслера были напечатаны в журнале «Логос»¹². Так что книга Волошинова (1929; 1930), в третьей части которой подробно рассматриваются взгляды школы Фосслера на проблему высказывания, попала на уже подготовленную почву. Следует признать, однако, что основные раблезистские работы представителей «эстетической лингвистики» на русский язык, действительно, не переводились и специально не обсуждались; остались они и вне поля зрения Волошинова, а вслед за Волошиновым – вне поля зрения его интерпретаторов. Это, казалось бы, не выходящее за рамки научной

корректности упущение (не рассматривает автор – можем не рассматривать и мы), в действительности обнажает глубинный методологический просчет, показывая, сколь опрометчиво в погоне за подтверждением научной состоятельности Волошинова рассматривать «Марксизм и философию языка» отдельно от остального наследия Бахтина. На частном примере критической рецепции школы Фосслера легко убедиться, что контекст проблемы целиком, методология исследования и целое замысла существуют в сознании одного автора – Михаила Михайловича Бахтина, и всякая попытка рассмотреть какую-либо работу Бахтина или «его круга» в изоляции или под углом зрения научного спецификаторства (лингвистического, литературоведческого, философского) редуцирует, а иногда и вовсе искажает ее смысл.

Итак, из лингвистов школы Фосслера наиболее последовательно проблематику Рабле разрабатывал Лео Шпитцер. Метод изучения языка Рабле был сформулирован им в диссертации «Словообразование как стилистический прием, на примере Рабле» («Die Wortbildung als stilistisches Mittel exemplifiziert an Rabelais»), защищенной в Париже в 1910 г. В 1931 г., в лекции «К пониманию Рабле» («Zur Auffassung Rabelais») ¹³, с оглядкой на свою книгу двадцатилетней давности и в связи с выходом собрания сочинений Рабле под редакцией Абеля Лефрана ¹⁴, Шпитцер сформулировал существо методологических разногласий между ним и школой Фосслера, с одной стороны, и кругом Лефрана, с другой, – то есть между «эстетической» и «историко-филологической» критикой текста.

Собрание сочинений Рабле, начатое в 1912 г., стало итогом целого этапа французской раблезистики, связанного с именем Абеля Лефрана, основателя «Société des études rabelaisiennes» (1903) и журнала Общества «Revue des Études Rabelaisiennes» (1903–1912), а затем журнала с более широкой программой «Revue du seizième siècle» (1913–1933). Метод «историко-филологической» критики текста, исповедуемый Лефраном и его кругом, позволил создать образцовое издание, изучить источники ¹⁵,

подготовить научную биографию писателя¹⁶, представить образ Рабле в историческом, духовном и поэтическом контексте своего времени. И все-таки, с точки зрения Шпитцера, для понимания Рабле этого оказалось недостаточно.

«У каждого народа есть великий писатель, которого он в большей мере чтит, нежели читает», – так начинает Шпитцер свой разбор французской рецепции Рабле (S. 26). Шпитцер, как и впоследствии Бахтин, задается вопросом об «одиночестве» Рабле: отчего Рабле не стал во Франции тем писателем, каким является Сервантес для Испании? отчего во Франции не могло появиться о «Гаргантюа» книги, равной труду М. де Унамуно о Дон Кихоте? Почему Тибоду, к примеру, выстраивая магистральную линию развития французской литературы, включает имена Монтеня, Паскаля, Вольтера, Шатобриана и не упоминает Рабле? И почему столь незначительно влияние Рабле на французскую литературу XX века (Шпитцер называет, в частности, театр Жарри и Романа Роллана)? Только ли дело в том, что Рабле недостаточно утончен, его язык сложен, а юмор специфичен? Только ли дело в национальном характере и традиционном представлении о духовном, которое не очень вяжется с «надындивидуальной формой мысли» Рабле и дионисийским началом его образности? Отчасти да, отвечает Шпитцер. В Рабле есть сила, которая пугает французов в немецком искусстве, в Вагнере, например. Во французах, пишет он, есть почти истерический страх перед силой и властью как таковыми, перед хтоническим и дионисийским началом; французам чужд взгляд на ребенка как на ребенка, а не как на маленького взрослого; детская-витальная-первобытная сила им непонятна.

Однако есть, очевидно, и другая причина. Никто из французских писателей не пострадал от позитивистского литературоведения в такой степени, как Рабле. Общество, основанное Абелем Лефраном, подготовило новое критическое издание романа, лучшую из существующих биографий писателя, исследовало источники Рабле, основы его языка и стилистики,

продемонстрировало яркие образцы эрудиции, «филологии в высшем смысле», но не приблизило нас к пониманию гения Рабле, комического Гомера, и его «лексического карнавала».

Французской позитивистской традиции критики текста Шпитцер противопоставляет концептуальность немецкой филологии, приводя в пример книгу Генриха Шнееганса «История гротескной сатиры» («Geschichte der grotesken Satire»), выпущенную в 1894 году¹⁷, то есть до основания «Société des études rabelaisiennes», в которой сказано не о реализме, а о гротеске автора «Гаргантюа и Пантагрюэля» и в которой впервые всерьез обсуждается смех Рабле, заключающий в себе возрождающее начало, позволяющее «преодолеть страх».

Впоследствии эти ключевые позиции, обозначенные Шпитцером со ссылкой на Шнееганса, – гротескная образность и преодолевающий страх смех – будут интересовать и Бахтина. В духе Шпитцера он будет оценивать и методологию круга Лефрана¹⁸. При этом было бы не продуктивно считать идеи Фосслера и Шпитцера источниками книги Бахтина. Труды Фосслера и Шпитцера, сам их взгляд на Рабле, его роман и язык, на состояние и перспективы европейской раблезистики правильнее было бы рассматривать как диалогизующий фон книги, в контексте которого она могла прозвучать, если бы была написана тогда, когда была задумана.

В конце 1930-х гг. проблематика исследований изменилась, внимание сосредоточилось на изучении фольклорных элементов в романе Рабле, и методологический спор Шпитцера с кругом Лефрана, отзвук которого можно различить в книге Бахтина о Рабле, потерял прежнюю актуальность. Хотя в 1933 г. Лефран сформулировал свое видение новых научных задач¹⁹, дальнейшее развитие раблезистики было связано уже с другими именами.

И все-таки недооценивать значение пусть и запоздалого отклика Бахтина не стоит. Интерес к «эстетической лингвистике» школы Фосслера позволяет не только точнее определить место его книги в европейской науке, в частности, во франко-немецком диалоге о языке автора «Гаргантюа», но и

обнаружить связи с текстами 1920-х гг., особенно с «Марксизмом и философией языка» В.Н. Волошинова, что само по себе позволяет снять остроту проблемы советского влияния на концептуальное ядро «Рабле».

Известно, что интерес Бахтина к школе Фосслера был последовательным, начиная с «Марксизма и философии языка», где в реферативной форме дана обобщающая характеристика лингвистического направления школы Фосслера. Волошинов, напомним, относит школу Фосслера к гумбольдтовскому направлению, отмечая отказ от лингвистического позитивизма, признание осмысленно-идеологического момента в языке и индивидуального творческого акта речи как основной реальности языка, однако проблема изображения чужой речи, которая будет развита в книге Бахтина о Достоевском, развернутого представления здесь не находит.

У самого Бахтина ссылки на имена Фосслера, Шпитцера, Лорка, Лерха можно обнаружить в «Формах времени и хронотопа в романе»²⁰ сер. 1930-х, «Из предыстории романного слова»²¹ 1940 г., во втором издании книги о Достоевском²² и подготовительных материалах начала 1960-х, в работе «Проблема текста»²³ и даже в статье «Вопросы стилистики на уроках русского языка в средней школе»²⁴ 1944 г.

Однако в самой книге о Рабле прямых указаний на работы Шпитцера и Фосслера нет. Лишь отчасти недостающие ссылки компенсируют черновики четвертой главы «Проблем поэтики Достоевского», посвященной мениппее и карнавализации литературы: «Мы охарактеризуем здесь ряд явлений, – пишет Бахтин, – которые уже давно привлекали внимание литературоведов, занимавшихся вопросами стилистики (а также и лингвистов, некоторых, например, школы Фосслера). С нашей точки зрения, фосслерианцы занимались не столько строго лингвистическими, сколько металингвистическими проблемами, т.е. изучали явления не в системе языка, а в формах их живого функционирования в различных областях культуры (преимущественно художественных). Явления эти, если их изучать по

существованию, т.е. как явления диалогической природы, выходят за пределы строгой лингвистики, т.е. металингвистичны»²⁵.

Какие оправдательные доводы можно было бы привести в защиту Бахтина? На наш взгляд, как и в случае с широко обсуждавшимся отсутствием ссылок на книги Э. Кассирера, главный аргумент состоит в следующем: ссылки на школу Фосслера, равно как и на марбургскую школу неокантианства, в книге о Рабле имели принципиальный характер и неизбежно влекли за собой предметный разговор по существу, который как раз был невозможен. Повторим, не ссылка на Шпитцера, а именно предметный разговор о концепции Шпитцера в 1940-е гг. был невозможен. Так что удивляет не отсутствие упоминаний цитированных нами работ в книге о Рабле, а то, с каким упорством Бахтин напоминал своему читателю об «эстетической лингвистике» школы Фосслера, не забыв о ней и в статье, адресованной школьным учителям.

Металингвистический принцип Фосслера, экстраполированный на язык и стиль Рабле в работах Шпитцера, представляет собой реальный «мостик», соединяющий работы Бахтина 1920-х гг. и книгу о Рабле. Проблематика изображения чужого слова, положенная в основу его теории романа, оформлялась первоначально в контексте интереса к «эстетической лингвистике», полагавшей Рабле исключительным писателем, изучение языка которого позволяет осуществить теоретический прорыв. Шпитцер, отметим особо, рассматривал стиль Рабле «как выражение его манеры видеть вещи»: «...Подобно тому, как поэзия бурлеска живет контрастом между серьезным содержанием и комической формой и обратно, т.е. как пародия или как травести, так и в новообразованиях Рабле существует противоречие между серьезным корнем и комическим окончанием или наоборот <...>»²⁶ (Шпитцер, 1928, 196).

Таким образом, можно предположить, что выбор автора – Рабле – для второй книги Бахтина не был ни случайным, ни вынужденным. Проблематика изображения чужого слова, центральная в книге о

Достоевском 1929 г., в европейской лингвистике 1910-х гг. была связана, прежде всего, с исследованием языка Рабле.

К статье И.Л. Поповой

¹ Точными сведениями о том, когда возник замысел «Рабле», мы не располагаем. Первые сохранившиеся в архиве Бахтина наброски к книге относятся к ноябрю-декабрю 1938 г. Между тем существует ряд свидетельств о более раннем происхождении замысла. Сам автор в разное время давал понять, что задумал свою книгу в начале 1930-х гг. Во вступительном слове к защите диссертации 15 ноября 1946 г. Бахтин говорил, что работал над ней «свыше десяти лет» (ДКХ. 1993. № 2–3. С. 555). В беседе с В.Д. Дувакиным 22 марта 1973 г. на вопрос «Вот когда Вы “Рабле” начали делать?» – он отвечал: «Рабле начал я еще в Кустанае. В Кустанае, а потом продолжал...», а после повторного уточняющего вопроса: «Так что вот эта Ваша замечательная книжка о Рабле начала писаться еще в Кустанае?» – добавлял: «Да. Но основная работа, конечно, произошла уже позже» (Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 1996. С. 211, 212). Близкая к названной Дувакину датировка засвидетельствована и В.Н. Турбиным. На вопрос, когда могла бы выйти книга о Рабле, не будь к тому никаких внешних препятствий, Бахтин, по признанию Турбина, уверенно отвечал: «Полагаю, что в 1933 г.» (Турбин В.Н. О Бахтине // Турбин В.Н. Незадолго до Водолея: Сб. статей. М., 1994. С. 446). Хотя условность ситуации, предложенная Бахтину его собеседником, предопределяла и известную условность ответа, скудость материалов заставляет учитывать и косвенные свидетельства, не преувеличивая, впрочем, их значимости и не настаивая на возможности рассматривать их в качестве неопровержимых доказательств датировки.

Впрочем, в пользу того, что концепция «Рабле» формировалась на рубеже 1920–1930-х гг., есть косвенные подтверждения и иного рода. Так, в книге Е.Л. Ланна «Литературная мистификация» (1930) различимы отзвуки идей, развернутых впоследствии в книге о Рабле, в том числе мысль о *карнавальной природе* мистификаций. По предположению И.П. Смирнова, знакомство Ланна с идеями Бахтина было возможно при посредничестве переводчика В.О. Стенича, знавшего обоих (Смирнов И.П. О подделках А.И. Сулакадзевым древнерусских памятников (место мистификации в истории культуры) // ТОДРЛ. Т. XXXIV. Л., 1979, С. 201).

² Стенограмма заседания ученого совета Института мировой литературы им. А.М. Горького: Защита диссертации тов. Бахтиным на тему «Рабле в истории реализма» 15 ноября 1946 г. / Публ. Н.А. Панькова // ДКХ. 1993. № 2–3. С. 55, 57.

³ «Я решил сделать его предметом своего специального исследования, но он все же не стал моим героем». (Там же. С. 57.)

⁴ Бахтин М.М. Франсуа Рабле в истории реализма. <Машинопись>. Отдел рукописей ИМЛИ (ф. 427, оп. 1, № 19–19а). Архив М.М. Бахтина. 1940. С. 3–4.

⁵ Там же.

⁶ Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2 / Пер. с франц. В. Каплуна. СПб., 2004. С. 14.

⁷ Бахтин М.М. Франсуа Рабле в истории реализма. С. 3.

⁸ Бахтин М.М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 85–99.

⁹ Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 4. Ч. 1 (в печати).

¹⁰ См.: Поэтика. Вып. II. Л., 1927.

¹¹ Проблемы литературной формы: Сб. ст. О. Вальцеля, Р. Дибелиуса, К. Фосслера, А.(sic!) Шпитцера / Пер. под ред и с предисловием В. Жирмунского. Л., 1928.

¹² Фосслер К. Грамматика и история языка // Логос. 1910. Кн. 1; Отношение истории языка к истории литературы // Логос. 1912–1913. Кн. 1–2.

¹³ См.: Spitzer Leo. *Romanische Stil- und Literaturstudien*. Marburg/L., 1931. S. 109–134. Далее цит. по изд.: Rabelais. Hgg. von August Buck / *Wege der Forschung*. Bd. CCLXXXIV. Darmstadt, 1973. S. 26–52, с указанием страницы.

¹⁴ Rabelais F. *Oeuvres* / Éd. critique p.p. A. Lefranc, J. Boulenger, H. Clouzot, P. Delaunay, P. Dorveaux, J. Plattard et L. Sainéan. Paris, 1912–1931. Vol. I–V.

¹⁵ Предисловия А. Лефрана к «Гаргантюа», «Пантагрюэлю» и «Третьей книге» после его смерти были переизданы: Lefranc A. *Rabelais, Études sur Gargantua, Pantagruel, le Tiers Livre*. Paris, 1953.

¹⁶ Особо упомянем книгу Ж. Платтара «Творчество Рабле» (Plattard J. *L'oeuvre de Rabelais (Sources, invention, composition)*. Paris, 1910), удостоенную премии Французской Академии, и его же опыт научной биографии «Франсуа Рабле» (Plattard J. *François Rabelais*. Paris, 1932), а также работу вице-председателя Общества Л. Сенеана «Язык Рабле» (Sainéan L. *La langue de Rabelais*. V. I–II. Paris, 1922–1923).

¹⁷ Schneegans H. *Geschichte der grotesken Satire*. Strassburg, 1894.

¹⁸ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 141–143. Следует заметить, что следующая далее оценка работы Люсьена Февра относится к добавлениям 1960-х гг. До этого времени с трудами школы «Анналов» Бахтин знаком не был.

¹⁹ Lefranc A. *L'oeuvre de Rabelais d'après les recherches les plus récentes* // *Neophilologus*. 18 (1933). S. 81–92.

²⁰ Бахтин М.М. *Вопросы литературы и эстетики*. М., 1975. С. 150.

²¹ Там же. С. 409.

²² Бахтин М.М. *Проблемы поэтики Достоевского*. М., 1963. С. 260.

²³ Бахтин М.М. *Эстетика словесного творчества*. М., 1979. С. 298.

²⁴ Бахтин М.М. *Собр. соч.: В 6 т. Т. 5*. М., 1996. С. 141.

²⁵ Бахтин М.М. *Собр. соч.: В 6 т. Т. 6*. М., 2002. С. 356

²⁶ Шпитцер Л. *Словесное искусство и наука о языке* // *Проблемы литературной формы*. Л., 1928. С. 196.